

Главы из новой книги

ВСТРЕЧИ

Литературная судьба моя – горькая полныя: тяжело из деревенской грязи угодить в белоперчатные князи; а и грех жаловаться: на склоне лет одобрительно хлопали по плечу бывлые мастера, а к сему сподобились и общаться с писателями, коих при жизни величали классиками, а тех, кто в здравии, величают и поныне. Валентин Распутин изрядно подсоблял мне, смутному и зелёному; с Владимиром Личутиним завязалась творческая и житейская дружба; с Василием Беловым обменивались книгами и письмами; не единожды встречался и с Виктором Астафьевым – в Красноярске, Дивногорске, Овсянке, в Барнауле, Байске, Сроостках, где мы вместе беседовали с енисейскими и алтайскими книголюбями, сжиивали рядом в дружеских застольях; и, наконец ...помнил выше... Астафьев однажды письменно толковал о моих рассказах.

Коли виделся с Виктором Петровичем годом да родом, мимоходом-мимолётном, то и не скопил в закромах столь случаев, чтобы писать обширные воспоминания, а привирать – грех. Вдруг ...может, ни к селу, ни к городу... помню-лась расхожая на Алтае, писательская байка... Как из снежка, пущенного под гору, вырастает снежная баба с мушкетёрским носом, так и после смерти Василия Шукшина обильно и стремительно вырос круг его близких друзей, жаждущих покрываться на фоне Шукшина, а может, и копейку зашибить на воспоминаниях. Попутно сочинялись и мемуары в духе: я и Шукшин...

И вот, якобы, на Алтае затеялся вечер памяти Шукшина, где писателя вспоминали его приятели и знакомцы; и когда вечер уже затихал, на сцену самостоийно пробился застарелый стихоплёт, который так измаял писателей кудрявыми и корявыми виражами, что иные слабые нервные, завидев стихотворца, падали в обморок. Забрался мужиком на помост и вещает: "А ведь и я встречался с Макарьчем, и я хочу писать воспоминания... Помню, – говорит, – вхожу в приёмную второго секретаря Алтайского крайкома партии, а секретарша говорит: "У него Шукшин на приеме...", О, думаю, подфартило: с Шукшиным свяжусь, побеседую, – худобедно, но с Макарьчем старинные друзья. Выходит Шукшин... в сапогах, кожаном пиджаке, сердитый... тут я и подбежал: "Здравствуйте, Василий Макарьч; помните меня?". я вам стихи посылал... в амбарной книге...". Макарьч и говорит: "Почитал, почитал, дружнечко; да ты же ходячий гений...". Но тут вздыхается другой поэт и обличает "гения ходячего": "Да мы же, Федя, с тобой вместе были в крайкоме, и я слышал, что Макарьч ответил; он вот так махнул рукой на тебя и говорит: "Пшел-ка ты, Федя, к едре-е-ене фене!..."

Байка, конечно, но и нет же дыма без огня... Смех смехом, а и Виктора Петровича, видимо, постигала та же посмертная участь обрести тьму друзей. А к друзьям добавлялась и тьма исследователей, что прощалири сочинения до жалкой запятой; помню, в Перми на Астафьевских чтениях среди мудреных речей слушал профессорский доклад... про эмоционально-семантическую роль многоочия в произведениях Виктора Астафьева. Все исцарили, все истолковали; словно заплесневелым илом, завалили вымыслими и домьслами творческую и житейскую судьбу писателя; а ныне и до многоточий добрались...

Кстати, Виктор Петрович осчастливил сразу три российских города: Красноярск – здесь прошли детство, отрочество, ранняя юность, а потом – и преклонные лета; Пермь – в пермские земли вернулся после войны с женой-пермячкой; Вологду – здесь долгие годы жил и творил. Осчастливил, перво-наперво, издатель и библиотечкарей: под писателей, вроде меня, казна и поманого гроша не даст, а уж под Распутина и Астафьева раскошлится, под почему и крутился подле них околелитературный, ловкий народец. На помпанных советских деревенщиках нахились и услужливые, хитрые критики, и ловкие издатели, и прочие бойкие деатели искусства и журналистики.

Славили и славят Пермь и Вологда Виктора Астафьева, но писателю роднее Красноярск: здесь речным туманом уплыло в небесную синь деревенское детство, воспетое и оплаканное; здесь – батюшка Енисей, оживший под писательским пером, матерый и непостижимый в мощи и красе. Изначально и свиделись мы с Астафьевым в Красноярье, где с широким и хлебопосольным советским размахом гремели Дни "Литературной России"; и писательскую братию, что сплеталась со всей России-матушки, не томию поили и кормили от живота, но и катили по Енисею на белом корабле.

Речи Астафьева, публичные и тихие застольные, я не запечатлел в "записных книжках", а посему вспоминаю смутно, ведаю своими словами. Хотя слушал Петровича, отпахнув рот, страшась проронить и мелкое словцо, поскольку вырос среди мужиков, что не томя анекдоты травляли, а и веселили народцем сельскими байками, искусно ведали таёжные бивальщины и былички про нежить лесную, полевую, водную и болотную, избяжную и дворовую. Я вырос в мудром и украсном говоре, словно в тайге, дивной и щедрой.

Пристально всматриваясь в черно-белую карточку, где десятка три писателей, гурьтась на палубе, замерли в ожидании птички-синички, что выпорхнет из фотокамеры: вот писатель Хайрюзов и я сидим на резиновой подке, а меж нами – астафьевская внука, а над нами – Петрович и его Марья, а далее – провинциальные сочинители, вроде меня, грешного, коих власти осчастливили писательским праздником. Счастье же лицезреть, слушать знаменитого писателя, гулять по Енисею на белом корабле, спорить, соглашаться в жарких застольных беседах, наперебой читать стихи, а ино и прозу...

Тут же родилась и другая карточка: полумесяцем выставили на потеху и поглядение бородатых писателей, куда угодил и я, заборода-тевший, кажется, с пелёнок; впрочем, ради красного слова молвлено с пелёнок, а ежели без прикаса: стукнуло двадцать девять лет, "Литературная Россия" напечатала рассказ с благословляющим распутинским словом, потом газета присудила премию "за лучший рассказ года", хотя, думаю, за распутинское слово, тут и бросил я скоблить скулы, тут и зарос гнедой шерстью по самые оцеса. Помню, гладко выбритый, горемычный писатель, едко высмеял меня: "Как в люди выбыются, так сразу бороду растят...". В бородатые, что сбились на нижней палубе, угодили и други мои Михаил Шукшин – прозаик из Новосибирска и Владимир Башунов, Царствие ему Небесное, – талантливый русский поэт из Барнаула. И помню, Астафьев с верхней палубы с отеческой улыбкой поглядывал на бородатое писательское племя, и может, вертелась в уме ходолая приказка: борода, что лопата, а ума маловато; либо иная: борода, что лопата, и ума – палата.

Брежневская власть уже не страдала большевистским богохульством, и писатели в Красноярск посетили храм, потолковали со священником. О чём, хоть убей, не помню; да и священник в памяти не осел, поскольку меня, как и всю писательскую поросль, интересовал и волновал лишь Виктор Астафьев, о ту пору советской властью уже отмеченный Звездой Героя социалистического труда, двумя Государственными премиями СССР, изданный многочисленными тиражами, переведённый на

все языки читающего мира.

Среди молодых гостей в Красноярье и Владимир Константинович Сапожников, тоже матерый сибирский прозаик; а коль годами был близок Астафьеву и тоже воевал, то по-дружески и подсмеивался над писателем-приятелем. Но и Виктор Петрович за словом в карман не лезил, тут же лихо отшучивался. Жаль, не запечатлел я потешную перебранку пожилых бывалых мужиков дословно, а посему ведаю своими словами.

Анатолий БАЙБОРОДИН

Помню, выбрались мы из автобуса, любовались храмом, тут и Астафьев подкатил на лаково сверкающей, чёрной "Волге" ...а может, белой, либо бежевой, вишнёвой... в каких ездили советские веломужики, вроде секретарей обкомов и крайкомов. Сапожников, помню, хвастливо говорит Астафьеву: мол, Витя, у тебя "Волга", а у меня, брат, "Нива"... "А у меня – ещё и водитель..." – осадил его Витя. "Нива" в благополенную брежневскую тишь ...увы, перед грозой... тоже почиталась машиной начальственной, а для худых дорог – родной и дорогой.

Ещё, помню, громазкий наш автобус, неуклюже разворачиваясь на овсянкинских улочках, причалил к усадьбе Астафьева, и говорливой писательской братией наполнилась деревенская ограда, плавно переходящая в огород. "Витя, а на какой грядке тебе памятник поставят?" – усмешливо спросил Сапожников, на что Виктор Петрович осерчалось сверкнул зорким оком и, кажется, промолчал. Но когда мы нагрянули в усадьбу писателя Буйлова, и нас встретил малый лет трёх-четырёх, что сидел на заборе и весело вопил, вот тогда Виктор Петрович и ответил: "Ума мало, молотит что попало, вроде моего друга..." – и с лукавой улыбкой кивнул на Сапожника.

Писательская братия любила Виктора Петровича – талантливого прозаика и затейливого балагура и башнико, каких в стародавние времена записывали шустрые туристы-фольклористы, хотя и жаль, что краснопевец-енисеец, случилось, солоно солил, остро перчил бивальщины и байки; и соромщина, словно травдурина в житном поле, вскоре проросла и в художественной прозе – вспомним роман "Прокляты и убиты".

Валентин Распутин уродился потаённым, молчаливым ...зловязким про эдаких обычно добавляют: мол, себе на уме... и если и говорил в дружеском кругу, то кратко и притчево; Астафьеву же был отсулён природой и породой дар сказителя и народного певца. По воспоминаниям тот обладал сочным басом, переходящим в густой баритон, коим бы дьякону петь на божественной литургии и в архиерейском хоре. Так и слышнись, Виктор Петрович, яко Шалапин, возглашает: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко виде-ста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков, и славу людей Твоих Израиль".

Где бы не сбился в застолье писательская братия, если там оказывался Астафьев, то застольники слушали лишь его – мужики с восхищением, барыни и барышни с любовью, иные, может, и с надеждой на взаимность... Астафьев не чурался страстей мира сего, отчего и творческая, да и житейская судьба соткались из трагических противоречий. В "мировой паутине" ныне изрядно воспоминаний и о сугубо личной жизни Виктора Петровича; вот выписка из недавно прочитанных: "На фронте он несколько раз был тяжело ранен, здесь же он в 1943 году познакомился со своей будущей женой Марией Корякиной, которая была медсестрой. Это были два разных человека: Астафьев любил свою деревню Овсянку, где родился и провёл самые счастливые годы детства, а она не любила. Виктор был очень талантливым, а Мария писала из чувства самоутверждения. Она обожала сына, а он любил дочь. Виктор Астафьев любил женщин и мог выпить, Мария ревновала его и к людям, и даже к книгам. У писателя были две внебрачные дочери, которых он скрывал, а его жена все годы страстно мечтала лишь о том, чтобы он был всецело предан семье. Астафьев несколько раз уходил из семьи, но каждый раз возвращался назад. Два таких разных человека не смогли покинуть друг друга и прожили вместе 57 лет, до самой смерти писателя. Мария Корякина всегда была для него и машинисткой, и секретарём, и примерной домохозяйкой. Когда жена написала собственную автобиографическую повесть "Знаки жизни", он просил её не публиковать, но она не послушалась. Позднее он также написал автобиографическую повесть "Весёлый солдат", которая рассказывала о тех же событиях".

"...Привыкали они друг к другу долгу. Характер у Астафьева был тяжёлый, неуживчивый, но брак не распался, выдержал, во многом благодаря ангельскому терпению Марии, за которое Виктор уважал её и любил всю жизнь. Несколько раз за время их супружества неусидчивый Астафьев вдруг свалился с места и куда-нибудь уезжал – то в Вологду, то в Красноярск, то ещё куда-нибудь, и не на маленький срок, а на полгода или дольше. Но возвращался он всегда, и Мария молча, без слова упрёка принимала его обратно..."

Может, ошибаюсь, но чудится, в дальнем мире вдовхоненно и верно Астафьев любил лишь природу, искусство, и особо литературу... Помню, в начале девяностых, ещё не отчалив от патриотов к либералам, будучи на Шукшинских чтениях, Астафьев горько и прилюдно толковал о русской словесности, и, слава Богу, без соли и перца. Заповедал: коли русская литература выживет, встанит вопреки властителям-растителям, то не грех бы литературе и памятник поставить – эдакую величавую скульптурную композицию: измождённый писатель, которого подпирают две заморённые бабоньки – библиотечкарей и учитель литературы... Эдакий бы памятник воздвигнуть в Красноярске, да хоть в самой белокаменной столице... Позже в застолье ...вроде, в Шукшинских Сроостках... когда братья писатели завеселели, я, помнится, возразил Астафьеву: дескать, колесил и курослел по Иркутской губернии, беседовал с библиотекарями, учителями словесности, и нигде не видел заморённых, даже в глухомани, но – все крепкие, ядрёные... Виктор Петрович осерчалось сверкнул одноким оком ...не любил, чтобы перечили... и, кажется, проворчал: мол, картошку сеют...

Да-а, были Шукшинские литературные чтения, где Астафьев, Белов, Распутин, Личутин глаголом жгли сердца людей, проповедавая любовь к родному русскому народу; а как чуждебсы порушили народную власть и обратили Российскую Империю в топливную колонию Запада, то и Чтения обратились в лицедейский Фестиваль, где, утеснив писателей, артисты тешили толпу, жаждущую хлеба и зрелищ. Впрочем, среди артистов, слава те Господи, случались и русские народные, самородные, достойные былых Шукшинских чтений.

Русский националист?

Единодушно, единомысленно и равноправно с именитыми "деревенщиками" вошёл в русскую литературу Виктор Астафьев; а на переломе веков ещё и прославился, как русский националист с юдофобскими замашками. Так его повеличало русскоязычное писательское еврейство, как некогда повеличало и крестьянских поэтов начала прошлого века, начиная с Есенина Сергея и завершая Павлом Васильевым. Николай Клюев писал о том, как встретил Есенина русскоязычная шатия-братия:

Жоали хама, глупца неоптребного,

В сплнжакке, с кулаками в арбуз,

Даль повыслала отрока вербоного,

С голоском слаще девичьих бус. (...)

Он поведал про сумерки карие,

Про стога, про отжиночный сноп.

Зашипели газеты: "Татария! И Есенин – поэт-юдофоб!"

Крестьянские поэты вслед за Есениным и были казнены большевиками по уголовной статье об антисемитизме, принятой сразу после революции; а вот статью о русофобии большевики, увы, не вписали в уголовное право...



Если Валентин Распутин интеллигентно обходился, не касался русско-еврейских отношений, если Василий Белов пытался осмыслить отношения в романе "Всё впереди", то Астафьев, мужик горячий, хлесткий, откровенно и гневно выразил в ответе Натану Эйдельману всё, что думает о роли его соплеменников в русской судьбе.

Зачин Астафьевского письма Эйдельману – русская пословица: "Не напоивши, не накормивши, добра не сделаши – врага не наживёшь", а далее письмо... "Натан Яковлевич! Вы и представить себе не можете, сколько радости доставило мне Ваше письмо. Кругом говорят, отовсюду пишут о национальном возрождении русского народа, но говорить и писать одно, а возрождаться не на словах, не на бумаге, совсем другое дело. У всякого национального возрождения, тем более у русского, должны быть противники и враги. Возрождаться мы можем дойти до того, что станем петь свои песни, танцевать свои танцы, писать на родном языке, а не на навязанном нам "эсперанто", "тонко" названном "литературным языком". В своих шовинистических устремлениях мы можем дойти до того, что пушкиноведы и лермонтоведы у нас будут тоже русские, и, жутко подумать, – собрания сочинений отечественных классиков будем составлять сами, энциклопедии и всякого рода редакции, театры, кино тоже "приберём к рукам" и, о ужас! о кошмар! сами прокомментирём "Дневники" Достоевского. Ныне летом умерла под Загорском тётюшка моей жены, бывшая нам вместо матери, и перед смертью сказала мне, услышав в комедии, разыгранной грузинами на съезде: "Не отведи на зло злом, оно и не прибавится"... (Грузины долго бужевали, браня Астафьева за то, что писатель в рассказе "Повля пексарей в Грузии" мрачными красками запечатлел грузинского торгаша-спекулянта, братственного, похода унывающего русских, – А.Б.). Последую её совету и на Ваше чёрное письмо, переполненное не просто злом, а перекипевшим гноем еврейского высокоинтеллектуального высокомерия (Вашего привычного уже "трунения"), не отвечу злом, хотя мог бы, кстати, привести цитаты и в первую голову из Стасова, насчет клопа, укуса которого не смертелен, но... Лучше я разрешу Ваше недоумение и недоумение московских евреев по поводу слова "еврейчата", откуда, мол, оно взялось, мы его и слыхом не слыхивали?! "...этот Куликовский был из числа тех поляков, которых мой отец вывез маленькими из Польши и присвоил себе в собственность, между ними было и несколько жиденят..." (Н.Эйгельман. История и современность в художественном сознании поэта). (...) Более всего меня в Вашем письме поразило скопище зла. Это что же Вы, старый человек, в душе-то носите? Какой груз зла и ненависти клубится в вашем чреве? Хорошо хоть фамилией своей подписываетесь, не предаёте своего отца. А то вон не менее, чем Вы, злой, но совершенно соучастный атеист – Иосиф Аронович Крыжнев и фамилию украл, и ворованной моралью – падалюю питаётся. Жрёт со стола лжи и глазки невинно закатывает, считая всех вокруг людьми бесчестными и лживыми. Пожелая Вам того же, чего пожелала дочь нашего последнего царя, стихи которой были вложены в Евангелие: "Господи! Прости нашим врагам, Господи! Прими и их в объятия". И она, и сестры её, и братья, обезноженный окончателью в сылке, и отец с матерью расстреляны, кстати, евреями и латышами, которых возглавлял отпетый, махровый сионист Юровский. Так что Вам, в минуты утишения души, стоит подумать и над тем, что в лагерях вы находились и за преступления Юровского и иже с ним, маялись по велению "Высшего судии", а не по развязности одного Ехова. Как видите, мы, русские, ещё не потеряли памяти и мы все ещё народ Большой, и нас все ещё мало убьют, но надо и повалить. Засим кланяюсь. И просвети Вашу душу всемилостивейший Бог! 14 сентября 1986 г. село Овсянка".

Натан Эйдельман по Астафьевскому толкованию столь похож на соплеменника Чекистова (прообраз Лейбы Троцкого) из поэмы Есенина "Страна негодяев". Вот диалог Чекистова с красноармейцем Замаарашкиным:

"Чекистов (Троцкий). Нет безднний и лицемерней, / Чем ваш русский развинный мужик! (...) То ли дело Европа? / Там тебе не вот эти хаты, / Которым, как глупым курам, / Головы нужно давно под топор..."

Замаарашкин (русский красноармеец). Слушай, Чекистов!.. / С каких это пор / Ты стал иностранец? / Я знаю, что ты еврей, / Фамилия твоя Лейбман, / И чёрт с тобой, что ты жил / За границей.... (...)

"Чекистов (Троцкий). Ха-ха! / Нет, Замаарашкин! / Я гражданин из Веймара / И приехал сюда не как еврей, / А как обладающий даром / Укрощать дураков и зверей. / Я ругаюсь и буду упорно / Проклинаю вас хоть тысячи лет, / Потому что... / Потому что хочу в уборную, / А уборных в России нет. / Странный и смешной вы народ! / Жили весь век свой нищими / И строили храмы Божии... / Да я б их давным-давно / Перестроил в места отхожие".

Осенью 1986 года переписка Натана Эйдельмана и Виктора Астафьева, словно барговые осенние листья, словно боевые листовки, осыпала читающий мир, разошлась в тысячах машинописных листов, обитавших в самиздатовских бестселлер. Отныне имя Астафьева начертано ...выбито на чёрном камне... в списке юдофобов, где писатель красовался даже тогда, когда вдруг вошёл в сговор с теми, кого вчера клял. Но это потом, а пока...

Ныне можно лишь гадать о сокровенных отношениях Астафьевского отношения к евреям, коих писатель, может, и делил на библейских евреев – богоизбранных, среди коих воплотился Сын Божий, давших христианству ветхозаветных пророков, святых апостолов, первохристиан, и на евреев, распявших Христа и два века распинающих, мечтающих о мировом господстве.



ве, но под покровом князя мира сего, а не по Божию Промыслу. В пророчествах, изложенных архиепископом Серафимом по старинным греческим рукописям VIII-IX веков, сказано: "После того, как богоизбранный еврейский народ, предав на муки и позорную смерть своего Мессии и Искуителя, потерял своё избранничество, последнее перешло к эллинам, ставшим вторым богоизбранным народом".

Писатель мог особо выделить из иудейского мира евреев орусехов, вместивших в душу русский дух, славно послуживших России. Но вернее всего, Астафьев вёл речь лишь о бывлом ростовщическом, потом революционном, богороческом еврействе, что после октябрьского восстания ухитило российскую власть вместе с российским искусством.

К переплке русского писателя и русскоязычного пушкиниста, что пошла по миру, добавились еще письмо, где тайный соратник Астафьева ...по слухам, Владимир Солонухин... так же толкует о роли еврейства в русской судьбе: "...Лично руководил расстрелом и стрелял в царя еврей, действительно большевик и махровый сионист Яков Юровский. Вы (Н.Эйгельман, – А.Б.) это знаете лучше меня. Как знаете и то, что большевик – не значит нееврей. Общее руководство в Екатеринбурге осуществлял Шая Голощёкин, тоже ярый сионист, председателем местного совета был Белобородов (Вайсбарт) (...) Цель сионизма – власть над всем человечеством, над всем миром и превращение России в одну из "провинций" сионистского "Великого Востока". Еврейский "рай земной" в Палестине давно создан, но что-то вы туда не торопитесь..."

Великое будущее для родного народа зрело-видело большевистское еврейство в России, хоронящей русскую историческую память: "Было еврейское очарование идей, были еврейские иллюзии, что это "их" страна", – писал польский режиссёр Войцех Ромульск Богуславский. Даже и соплеменники осудили тяжкие грехи евреев перед Россией и до революции, и в революции, и после революции... Общественный деятель Даниил Самойлович Пасманик (Даниэль Гальяху) признавал, что "[над]о звать часть ответственности за всё произошедшее [в России] и на плечи еврейства (мильоны русских, убитых в гражданской войне, а потом и гибельная утрата русскими народно-православного духа, – А.Б.). (...) Еврейский кагал решил завладеть Россией, или мстителное еврейство расправляется с Россией за прошлые преследования, которым оно подвергалось в этой стране". А воззвание "К евреям всех стран" откровенно возглашает: "Непомерно рыаное участие евреев большевиков в угнетении и разрушении России... выменяется нам вину... Советская власть отождествляется с еврейской властью, и лютая ненависть к большевикам обращается в такую же ненависть к евреям... [Мы] исходим из твёрдого убеждения, что и для евреев, как и для всех населяющих Россию племён, большевики есть наибольшее из возможных зол, что бороться всеми силами против владычества над Россией всеветового сброда – святой долг наш: перед человечеством, перед культурой, перед Родиной и еврейским народом".

Станислав Куняев, что до скорбного перевоплощения Астафьева входил в его узкий дружеский круг, пристально оглядел родовое древо Эйдельманов и узрел, что "яблочко от яблони недалеко падает. Тетраведер Эйдельман-старший правил выдающегося русского поэта Павла Васильева (он был расстрелян по обвинению в фашизме, шовинизме и антисемитизме, – А.Б.), пушкинст Эйдельман-младший, продолжал семейные традиции, тоже постарался найти себе крупную мишень – выдающегося русского писателя Виктора Астафьева... Если не посадить, так хоть облить грязью".

Станислав Юрьевич оповестил Астафьева о своих изысканиях, и Виктор Петрович попросил: "...Ксерокопировать с деяний Эйдельмана-старшего непременно пришли. Жиды до сих пор не могут, все им кажется, что они всех перелукавали и могут уже торжествовать, танцуя на трупе русского мужика. Не думаю, что это исключение нам такое, чем лишь бы лягнуть слабого и недужного, греков, например, они ненавидят ещё больше нас, и арабов, и американцев так же, только перед американцами пока "смирно" стоят, но дождутся – и за это "смирно" отблагодарят их".

Со второй половины восьмидесятых Виктор Астафьев негласно возводился в идейные вожды русского возрождения, и осенью 1989 года в Иркутске на встрече советских и японских писателей даже обороняет общество "Память", под-

вергнутое демонизации как черносотенное: "...Если хотите знать мою позицию в этой буре, если она грянет, – я буду с "Памятью"! Я, беспартийный Астафьев, участвовавший в Отечественной войне и получивший три ранения, боевую медаль и орден, – буду с ней. Я буду за правду! За народ!".

Астафьев – душераздирающе противоречивый мыслитель: гулко и зло хлопнув русской дверью и метнувшись из ватаги русофилов в стаю русофобов, вдруг, будто невольню, по властному голосу предков, вновь и вновь впадает в русский национализм, что, напомню, по философу Ильину – любовь к нации, а не расизм, не нацизм. "Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушка своей сказать о любви..." Толстой, поносивший русский национализм, однако, в споре о том, чей солдат сильнее – русский или германский, – горой вставал за русского, забыв о своём публично оглашённом космополитизме. Нет ни эллина, ни иудея...

Вот так же поразительно и предельно противоречиво отношение Астафьева к русскому национально-патриотическому движению: то русофобия, вроде, подъярённая, силком навязанная, то русофильство, по мнению либералов, с неизбежным антисемитским духом.

"Прочёл твои (Нагибина, – А.Б.) рассказ в "Книжном обозрении", что-то об антисемитизме, об хороших евреях и плохих русских. Евреи любят говорить и повторять: "Если взять в процентном отношении...", так вот, если взять в процентном отношении, у евреев в пять, а может, и в десять раз орден в войну получено больше по сравнению с русскими, но не значит, что они храбрее нас, их погубили и погубило в огне и гонве войны пять миллионов. Нас, с учётом послевоенного моря, раз в пять или десять больше, но миром оплакиваются те пять миллионов и та нация признаётся страдавшей и страдающей, а у нас что же, у нас Россия – погост, вся нация растоптана, так что же если одного человека погубят – это убийство, а сотни миллионов – это уже статистика, и я вижу и ощущаю, мы, русские, становимся всё более и более статистиками истории. (...) Заискивать ни перед кем, тем более перед евреями, нельзя, они как нынешние дворяни: чем их больше гладишь, и кормишь, да заискиваешь перед ними, тем больше желания испытывать укусити тебя. (...) Преданно твой Виктор".

"Дорогой Саша! (Михайлов) (...) Я не читал этой критики, не слышал о ней. Прочёл, пожал плечами – несерьёзно это, хотя и небеспричинно. Это ж мне за начальника политотдела Лазаря Исаковича Мусенка гонорар, разве ты не понял? Меня как-то за слово "еврейчата" в "Печальном детективе" и за плохую Эйдельману доставали аж из Бостона, через "Континент". Володя Максимов дальнюю критическую эпистолю не стал печатать, так криво сикающая Горбаневская, сама себя записавшая в известные и потому гонимые поэтысы, как только редактор надолго отлучился, тиснула статейку. И в ней было то же самое, глуже, через сплюнявый рот бьющее желание унизить во что бы то ни стало русского лапотника, смеющего чего-то ещё и писать. Громила жидовка мой лучший рассказ "Людочка", заступалась за русский народ, за русский язык, за нашу святую мораль и в конце статейки уж без маскировки лепила: "Он и раньше не умел писать, а ныне и вовсе впа...". Затем Агеев, ныне работающий в "Знамени", в разовой ивановской газетёнке трепал ту же "Людочку", как подворотный кобелишка штанину, и всё это с углубленной и сердечной заботой о русской культуре вообще и о литературе в частности. И нигде ни звука, ни хрюка о первопричине. Заметь, что худо написанное у меня никогда не трогали. Стервятники! Хитрые и подлые. Меня, увы, это уже не бесит. Прочёл и прочёл. Газетёнка избала честного русского мужика Третьякова и вот с чего начинается восстанавливаться.

(...) Что любопытно: нападают на меня жиды именно в ту пору, когда мне тяжело, или я хвораю, или дома неладно. Лежачего-то и бьют. Но я ещё стою, и меня, как Суворов говорил, мало убить, надо еще и повалить. Можешь это другу своему Ваншенкину не читать, он-то, как мне кажется, на жидовские шулки не способен и историческую, затёянную злобу в себе не несёт. (...) В.Астафьев".

Неласковое отношение к русофобствующему еврейству беспокоило русскоязычных писателей и либеральных читателей? "...Вы вроде и евреев не жалуете... Знаю я, что Вам недосуд и здоровье не очень. Но, может быть, это жутко мнне: неужели Вы и впрямь антисемит? (...) Жуковская Юлия Захаровна".

Станислав Куняев в упомянутом очерке "И пропал казак..." вспоминает, что Астафьев, будучи уже в либерально-буржуазном лагере, но помня о межнациональной схватке с Эйдельманом, ещё взбрыкивал, и на предложение печататься в бульварно-руссофобском журнале "Огонёк" ответил: "Я в желтой прессе брезгую печататься". Виталий Коротки, главный редактор журнала, на се лишь криво усмехнулся: "...Болно уж он кокетничает, увлекается игрой в правдолюбие. Он мог быть гораздо интереснее, если бы не слишком шовинистическая нотка. Недавно, например, мы получили от него письмо. "Из еврейства", – написал он, – вы скатываетесь в жидовство..."

Не жалея евреев, высмеивающих русский народ, не жалеет Астафьев и прочих, кто покушается на великорусскую честь: бранит правитель-хохлоу, что, как и москаль, вышли из Киевской Руси, из восточных славян, но предали братьев по крови и вере; бранит хитромудрых грузинов и чванливых прибалтов с их студенкой рыбеёй кровью.

"Правители-хохлы в ненависти к москалям превзошли даже мои самые мрачные предсказания о том, что, получив вожделенную самостоятельность, они превзойдут в кураже и дури даже трусливых грузинов (...) В.Астафьев".

Не жалуя "расеянный народ", жаждущий власти на Руси и на всей земле, не жалуя онемеченных ливонцев, Виктор Астафьев не жалует и бывших русских, даже из ныне родной либеральной стаи. В письме к Евгению Носову упоминает, как гостил на юбилее покойного режиссёра Виктора Трегубовича, как познакомился с семьей покойного – добрые, славные люди, и тут же со свойственной круготостью вспомнил бывшую жену Василия Шукшина...

"Дорогой Женя! (Носов) (...) Познакомился с его (Трегубовича, – А.Б.) сестрами, братом, женой – все славные люди, не то что у Шукшина – там родно ближнего смерть не объединила, а сделала злыми, а женушка покойного Макарьча, как колхозная кобыла, под любого, даже выложенного мерина зад подставляет. Вот последняя её пылка любовь – руководитель педерастов под названием "На-на", даже на вид отвратный Алибасов. Она интервью налево и направо даёт, помолодела, повеселела, ни креста ни совести у неё, одно бесстыдство и позор. (...) В.Астафьев".

Даже когда Астафьев, словно в странном и страшном сне, вдруг из воинственного русофила обратился в столь же воинственного критика русофилов, либералы не простили деревенщине бывшего национализма, а посему, своеобразно используя мировую славу Астафьева, тайно ненавид